

Как только спадали служебные хлопоты, его тянуло в домашний кабинет. Работалось в нём легко, независимо и, как он говаривал, продуктивно. Наследство родителей: тяжелые шторы, глухая дверь, три ковра — два по стенам, один на полу — придавало кабинету сходство с радиостудией, и всё на него хорошо влияло.

Вот и сегодня он, не теряя ни минуты, ушёл из поликлиники сразу, как стало возможным. Поел за мраморным столиком в кафетерии, как будто специально выстроенном на его пути, отправил в портфель бутылку пива, пришагал домой и заперся на ключ. Этим выверенным способом он заставлял себя работать и подстраховывал от внешних влияний, дабы всё там, вне кабинета, оставалось в запрете. Даже наступавший день рождения. Исполнялось тридцать пять... Сколько это? Половина жизни? Или гораздо больше! А сделано что? Нежирно, в общем-то... Ну, одоление института, немало сложных операций, сколько-то статей в специзданиях...

Он задернул шторы, достал пачку чистой бумаги, сосредоточенно глядя в пол, накачал авторучку чернилами — никак не принимал «шарики». К чистой бумаге он был мистически равнодушен и экономил её как мог. Чудилось: на каком-то заветном листе рано или поздно проглянет то, о чём он всегда думал, где бы ни находился, что бы ни делал.

Травматолог Глеб Семёнович Хрусталёв изобретал аппарат с условным названием «Сломанная кость». Идея пришла к нему давно, и состояла она в том, чтобы избавить покалеченных людей от гипса. Практикуя, он видел освобождённые из гипса жалкие конечности с дряблыми мышцами, с надолго застывшими суставами, в струпьях отмершей ткани. Медленно циркулирует в них кровь, неспособная обогатить жизненной силой изувеченную плоть. Тогда и явилась дерзкая мысль: надо изобрести из металла или пластика такую шину, которая бы схватывала кости и не сдавливала мышцы. Процесс лечения сократился бы в два-три раза, большие со сломанными ногами могли бы ходить, а не лежать на вытяжке, на этой меддыбе, придуманной чёрт знает в какие века.

Зазвонил телефон. Хрусталёв растерялся и не сразу взял трубку.

— Да, да! Слушаю, — припав к столу, скороговоркой ответил он.

— Это дежурный врач Старикова...

— А-а, Надежда Ильинична! Рад, очень рад вам, — заверил Хрусталёв. —

Что-нибудь срочное?

— Глеб Семёнович...

— Я к вашим услугам... — тянул он. — Распожайтесь. Командуйте.

— Видите ли, Каретников уехал на дачу... Захар Трофимович режет аппендицитников...

— О-о, какие новости!

— Отчего вы такой... весёлый? — голос Стариковой набрался дикторской сочности. Она уж, верно, жмурила агатовые глаза свои и смотрела как через некий барьер, будто разговаривала с симулянтом. — Не понимаю вашего настроения, право... Но слушайте. Где-то в лесу разбился геолог, вроде бы сломал ногу. Раздробление голени, вероятно. Звонил начальник геологического управления и просил, чтоб полетел опытный врач. — Уже ненапористо, успокоенно выкладывала Старикова. — Он заказал вертолёт.

— Когда вылет?

— Минут через двадцать, если сможете. Сейчас вышлю машину. В аэропорту вас встретят.

«Вот кого бы на именины-то позвать», — просветлённо подумал Хрусталёв, ясно вообразив полнеющую фигуру Стариковой.

Пострадавший лежал в углу обширных нар, под квадратным окошком. Лицо его, обмётанное серой пыльной бородой, походило на картонную маску, но глаза, горячечные, словно sprыснутые глицерином, неотрывно следили за вошедшим. Возле него стояла миска спелой до черноты брусники, на тарелке валялись комья грязноватого, как мартовский снег, сахара, лежал кусок варёного мяса.

Хрусталёв отбросил одеяло. Правая нога парня, синюшная и утолстившаяся, была примотана верёвочкой к отёсанному обрубку осины.

— Перелом, по-моему, многооскольчатый, весьма сложный, — сказал Хрусталёв с выработавшимся неудовольствием, высасывая шприцем лекарство из бутылочки. — Но хорошо и то, что закрытый, а то бы уж, наверное, проникла инфекция...

— Сколько придётся лежать? Месяц, два? Скажите откровенно, — геолог с усилием приподнимался, потел от напряжения.

— Посмотрим, что снимки покажут, — сдержанно ответил Хрусталёв.

Сделав обезболивающий укол, Хрусталёв взгляделся в лицо геолога и... узнал его. Они, смешавшись, узнали друг друга, и каждый про себя был удивлен тем, что это почему-то не произошло сразу.

— Глеб! Или я обознался?

— Никита! — вскрикнул Хрусталёв. — Никита Ломакин!

— Я, я и есть...

Они неудобно обнялись и некоторое время молчали, не зная, что делать и о чём говорить. Хрусталёв, желая того или нет, вглядывался в старого друга как будто в самого себя, с ревностно-тревожным любопытством. Насколько он, Никита Ломакин, изменился? Постарел, нет? И с тайным удовлетворением отметил, что Никита, в общем-то, всё тот же, всё в нём знакомое, прямо-таки родное. Правда, заметно огрузнел, морщинки проступают. Ну что ж, время идёт...

— Это, выходит, больше десяти лет не виделись... — заговорил Хрусталёв без докторской значительности. — А вроде бы совсем недавно жили вместе. Помнишь нашу мрачную комнатушку? Как спасались на полатах от холодрыги?

— Ещё бы! И как на работу ходили, в институты готовились, и как ты отчалил с Севера... Все помню! Не мог я, знаешь, после тебя жить, бросил всё, разломал. Ну, поступил со второй попытки на геофак, отучился, диплом в зубы — и сюда, на золото двинул. Всех и рассказней-то...

— Женился?

— Не собрался как-то... А ты?

— Да тоже заколодило. Сломалось что-то, а что не разберу толком.

— Слушай-ка, Никита... — глядя вверх, за окно куда-то, позвал Хрусталёв.

— Чего?

— Сейчас я вспомнил ту полярную ночь, и снова мне жутко сделалось.

— А здорово меня тогда крутануло... Если бы не ты...

Когда вертолёт взмыл ввысь и взял направление на Якутск, Хрусталёв снова пережил то, что с ним случилось больше десяти лет назад.

...Мела жестокая пурга, она не спадала уже третью неделю, заставляла думать только о ней, и люди, бездельничая, измотались, устали, как в тяжком пути.

Мужчины пробирались по натянутым канатам в «Арктику» и облегчали души вином, табаком и разговорами. В тот раз Хрусталёв занимал край стола один, без Никиты Ломакина. Он не мог уйти на метеостанцию, где работала женщина... Попасть туда, в сопки, можно лишь через бухту пешедралом, потому как автомобили, во избежание несчастий, стояли на приколе, их настрого запрещалось выводить из гаражей. Кроме того, Хрусталёв люто, до нитя под ложечкой, ревновал. Соперник его тоже сидел здесь в окружении друзей и угощал, бездумно транжирия деньги, всех подряд. То был сорокалетний капитан могучего ледокола Донской, «покоритель северных широт», как о нём обыкновенно писали в газетах. Он был великолепен, этот капитан, и для полярника имел немало: известность, и не только газетную, его признавали все судоводители без исключения, — жёсткую власть, знание ремёсла, опыт... И природа не обошла его: фигура — дай бог каждому, размашистая, подвижная. Лицо... нормальное лицо, для полярника самое подходящее. Даже морщины шли ему. Они, казалось, лежали не сверху, а выступали из глубины.

Хрусталёв как-то застал Донского на метеостанции, мгновенно заметил, что женщина вела себя повышенно суетливо, и взял его измором: ждал, пока он не убрался. Хрусталёв сознавал свою беспомощность перед величием Донского, но что-то распяляло его, вздымало мутный гнев и обиду на женщину — это, конечно, она была виновата в том, что попиралась его любовь.

Коротая часы в «Арктике», он видел, что Донской сиял светлым чувством и намерен сорваться на метеостанцию.

Хрусталёв оставался настороже. Компания Донского, отоварившись шампанским, двинула к выходу — любоваться мирозданием. Минуту Хрусталёва, Донской вымолвил:

— Держись, малый! Ты своё возьмёшь.

Хрусталёв не мог больше оставаться в ресторации и вышел на улицу. Он связал две бутылки отыскавшейся в карманах суровой ниткой, вздел их на шею и бросился с берега в кишевший по торосам снежный бус. Топать по бухте предстояло километров семь, если дёрнуть прямо на сопку, туда, где стояла метеостанция. Бухта просматривалась вплоть до берега, она лежала грузно, независимо, по-бетонному надёжно. Одолеть её, думалось, можно весьма легко, часа за полтора: спорым шагом, где рысцой, марш-марш по целику туда, к сопке... Хрусталёв выкарабкался из торосов, на что, к его изумлению, ушло ровно сорок минут, и стал петлять меж обмерших, до лета безмолвных и неприятных кораблей с толстыми, в обхват, мачтами и реями. Наконец он миновал смолёный борт последнего корабля, стоявшего во льду глухим забором, и оказался на открытом просторе.

Он двигался устремлённо, резкими толчками, кое-где, отладив дыхание, бежал. Уже стала различаться заветная каменная сопка, будто специально для ориентира выложенная из обточенного ветрами плитняка. До берега оставалось не более километра, и Хрусталёв был готов торжествовать победу. Но тут из долины, известной под названием Гибельной, набирая скорость и напор, низом потекли снежные ручьи, настолько густые, что сопка и берег скрылись моментально, как сонное видение. «Ничего, ничего, — шептал Хрусталёв, пряча голову в башлык, по которому уже стегало как дробью. — Главное, не свернуть куда-нибудь. Надо идти как по струнке, берег близко». Налегая плечом, он упрямо шагал и шагал вперёд, и лишь после того как прошло немало времени, а берега всё не было и не было, обратил внимание на то, что ветер хлещет в грудь ему, а не в бок, как должно. Неужели пурга сменила направление? Нет, это исключалось... Он подставил левый бок ветру и шёл, начиная дрогнуть и куржаветь, ещё долго, уже с поколебленной надеждой выйти в нужное место.

От мороза уже не было спасения. Кирзовые утеплённые сапоги задубели, спецпошив на толстой вате вымок спереди; башлык обметало льдистым куржаком. Но больше всего мёрзли ноги в жестяной ткани брюк — подштанники он презирал. Хрусталёву казалось, что он опущен по пояс в холодную воду и что по мышцам ног то и дело чиркают стальным резцом. «Да это же конец, — ожгла его ясная мысль. — Неужели так вот оно и бывает? Господи, твоя воля!.. Спаси и помилуй! — всплыл в памяти материнский причет. — Я жить, жить хочу!» Он елозил, скручивался на жёстком сухом снегу, разминал тело, но подниматься не то не решался, не то уже был не в силах. И тут в сознании, глуша всё остальное, стала возникать успокоительная мелодия, рождённая хомусом: дэнь-дэнь-дэнь...

Перед глазами возникло суровое лицо старого олонхосута, заведшего сказ обо всём сущем на земле. Именно там ему открылась мудрость и этой, на первый взгляд, упрощённой мелодии, и этого безмерного, как Север, повествования. Слитые воедино, они как бы разясняли ему простую, но дорогую тем, что она осознала, пропускалась через душу, истину: жизнь единственна, сложна, не трать её попусту. «И не ходи, остолоп, один в пургу», — добавил Хрусталёв лично от себя. Небо вдруг расчистилось. По нему скомканными тряпицами летели обрывки снежных туч, мелькали, чудилось, стаи каких-то птиц... Проступил стеклярусный шлейф Млечного Пути. Из космоса по-прежнему извергался студенистый оранжевый свет, проявляя какие-то мосты и переходы, колонны и стены. «Господи! Кому всё это надо? Для чего? — думал Хрусталёв. — Любоваться, что ли?» — «Как для чего? — тут же прозрел он; мозг заработал свободно и чисто, как всегда после основательной нервной встряски. — Раз Млечный Путь лежит так, значит, берег в том или другом конце его. Двигаться, двигаться надо! Из гололеди выбраться надо. Но как? Без ножа, без топора...» — «А так!» — сказал он себе, поработал мускулами, разулся, затолкал портянки под ремень и, низко склонившись, побежал против ветра — к сумётам снега ли, к торосам ли, куда угодно, лишь бы не замерзать на месте. Сначала, метров тридцать-сорок, подошвы хорошо липли ко льду, ощутимый шлепоток их подсознательно радовал его тем, что идея оправдывает себя; но вскоре кожа потеряла чувствительность, и ноги застучали, как протезы. Хрусталёв рванулся вперёд из последних сил, сделал ещё малую пробежку и упал лицом вниз, выкинул руки: пальцы его нащупали клин впаиванной льдины, он подтянулся, выполз с безупречной глади на утрамбованный в торосах снег.

Спешно, насколько был способен, он выхватил портянки и солдатским сукном их стал растирать ноги. Затем обулся, попрыгал на месте, немного успокаиваясь тем, что попал в торосы, — ведь они шли вдоль берега и особенно теснились возле сопки напротив метеостанции.

Скользя, падая и ушибаясь о льдины, Хрусталёв блуждал в торосах ещё часа три и вышел-таки на берег, определив его сразу же ногами по глухому стуку камней.

Хрусталёв шёл вслепую, на какие-то мгновения терял сознание, слыша только голос олонхосута и текучую с металлическими дребезгами мелодию хомуса: дэнь-дэнь, дэнь-дэнь, дэнь-дэнь... Так он шёл до тех пор, пока не уткнулся в пыхающую теплом грудину могучего вездехода. За рычагом машины сидел Никита Ломакин. Ему, Никите Ломакину, не замедлили сказать, что кореш его — в такую-то пуржищу! — ушёл по бухте к своей зазнобе. Никита позвонил на метеостанцию и узнал: нет, никто не появлялся. Тогда он забил тревогу, обеспокоил поселковое начальство, но ничего существенного не добился — обожди час-два, втолковывали ему, чуть-чуть уймётся эта падера, тогда и начнём поиски. Терпения Никите не хватило, и он, под личную ответственность, залез в гараж, вывел из бокса вездеход, включил повышенную скорость, добавил газу и выехал за ворота.

Он ездил по бухте змейкой, обследуя километр за километром, чуть сам не заблудился, после чего гонял вездеход только по берегу, надеясь, что Хрусталёв в конце концов выйдет на него. Расчёт его оказался верным.

— Едем на метеостанцию! — заявил Хрусталёв.

— Не надо тебе на метеостанцию... — сказал Никита. — Я только что оттуда.

Вакансия занята. Капитан Донской там гужуется...

Лежать на вытяжке сначала было не так уж страшно. Специальная кровать, изобретённая, видимо, на основе богатой практики, как бы вбирала в себя Ломакина, сама приспособливалась к его органам. Вогнутая на середине ложбиной, она умеривала пудовый груз, и действовал он, казалось, на что надо — на голень. И всё же здесь таился какой-то обман. Гири оставались гирями, они одномерно выворачивали ногу вплоть до паха, вроде бы давили всё тело, и намученный Ломакин, погружаясь в сонную одурь, видел себя безостановочно падающим со скал Джугджура.

Поздно вечером Ломакин заметил шедшего по коридору Хрусталёва и подо- звал его.

— Слушай, Глеб... — сказал он чужим голосом. — Сколько ты намерен рас- пивать меня здесь?

Хрусталёв, поколебавшись, сел между кроватей, опёрся локтями о тумбочку.

— Хочешь не хочешь, а лежать придется ещё месяца два или три — сам толком не знаю, — проговорил он невыразительно. — От меня ничего не зависит. Зависит от организма: как он одолеет болезнь, так станет нарастать и костенеть мозоль. Чтобы заварить твой перелом, много требуется нарастить этой самой мозоли.

— Сколько помнишь, я никогда ни о чём тебя не просил. А сейчас прошу: сними с вытяжки, я больше не могу, — судорожно поднимаясь, с присвистом за- говорил Ломакин. — Я измотался, вытряхнулся и, кажется, скоро начну орать и кусаться...

— Рано! Не схватились ещё осколки. А вдруг упадёшь? Даже крутнёшься не- ловко, и всё пойдёт насмарку, неизвестно, чем кончится. Давай уж не будем ри- сковать.

— Да не болит же перелом! — возразил Ломакин гневно. — На, смотри! — он, извернувшись, достал пальцами голень, подёргал её.

— Растяжка-то снимает боль.

— Ну, Глеб... Освободи, не терзай...

— Нет! — стукнул Хрусталёв себе по колену, вставая. — Нет и нет!

— Гад полосатый! — ругнулся ему вслед Ломакин.

Хрусталёв вернулся — безвольный, с болтающимися руками — и сказал:

— Припекло? Ну-ну... Это даже хорошо. Злость нейтрализует боль. Ругайся вволю — спишется.

— Сядь-ка поближе... Хочу признаться тебе...

— В чём?

— Не ездил я в тот раз на метеостанцию и, само собой, не видел никакого Донского. Думал, уедешь с ней, бросишь меня там, в Заполярье... да и бабёнка-то, по-моему, слишком ручной была.

— Тихо, тихо, Никита! Дай подумать... — Хрусталёв начал с усилием тереть виски. — Вот оно, значит, что!.. — и он вышел в коридор, только полы халата взвились птичьими крылами.

Прошло ещё два месяца.

В календарях значилось начало весны, но никаких следов её не было замет- но. Стояла глухая, по-северному неотступная зима. Никита так и оставался на вытяжке, он лежал пластом, исхудавший и безвольный, с тряпично опавшими

мускулами, ненавистный самому себе. Большую часть суток он пребывал в сладких мечтаниях. Чудилось ему, будто до окончательного выздоровления осталось совсем мало, и что скоро наступит иная жизнь, которую он станет принимать не бездумно, как раньше, а со строгим самоотчётом за каждый дарованный ею час и день. Он видел себя на прииске, среди вольной братвы либо в кособокой столовке дующим пиво, либо на танцах в клубе... Всё то, видно, не было воспринято и оценено им как следует и потому легко утратилось. Но чаще он, нелюдим, воображал себя беззаботно шагающим по древним скалам Джугджура, неоглядным далям и альпийским лугам. И ещё одно занятие было у него — ругать Хрусталёва. Полнясь внезапно накипавшей злобой, он ставил ему в вину и стучание до зубной вибрации холодильника в коридоре, и непроветриваемую палату оттого, что строители в своё время не удосужились вырезать форточку, и громогласное переключение сестёр и нянечек — одним словом, всё.

Однажды в палату явился Хрусталёв с медсестрой-помощницей. Он достал из кармана халата разводной ключ, отвинтил гайки и выдернул плоскогубцами спицу — будто смычком по нервам провёл. Ломакин едва успел подавить рвущийся из груди стон.

— Теперь я спокоен за эту... конечность, — сказал Хрусталёв, улыбаясь.

— Ещё месяца два-три потаскаешься в гипсе, на костылях походишь, затем с тросточкой, — и хоть чечётку бацай. Готовьте... человека на выписку, — велел он медсестре и обратил взгляд на Ломакина: — Ну-с, что мог и умел, я выполнил. Будет тебе добрая нога.

— Спасибо... — боясь расслабиться, отмякнуть душою, тихо произнёс Ломакин.

...Больничная «Волга» стояла у крыльца.

— Стой-ка, друг! — проснулся он к шофёру, когда из-за бугра выступили аэропортовские дома и завиднелась метеорологическая «колбаса».

— Что такое? — шофёр машинально сбросил газ.

— Вернуться надо, очень надо...

Хрусталёв сидел в продолговатом обставленном отличной мебелью кабинете с надписью на двери «Главный врач» и самоуглублённо читал медицинский вестник.

— Чем увлекаешься? — спросил Ломакин, зависнув на костылях в двери.

— Радуюсь и плачу, — ответил Хрусталёв. — Плачу и радуюсь.

— Уж не потому ли, что главным стал?

— Нет, тут всё в ажуре.

— Жалеть не будешь?

— Чего загадывать... Мое назначение — акт честный, так что я... доволен, не скрою. Буду стараться в меру сил и возможностей. Сегодня-то у меня другой повод грустить. Видишь ли, я изобретал долго, целых семь лет, и наконец работа завершилась. Нет, не моя работа, чужая, одного счастливица, ну и моя тоже.

— Объясни ладом, — потребовал Ломакин, с трудом усевшись без приглашения в кресло.

— Понимаешь, Никита, я бился над тем, чтоб люди со сломанными ногами никогда больше не страдали на вытяжке, чтоб не таскали на себе этот ужасный гипс. Но, увы, меня опередили. Оказывается, о том же мечтал ещё один кустарь-одиночка по фамилии Илизаров, — Хрусталёв вышел из-за стола. — Он придумал изумительный аппарат для сращивания костей и ухлопал десять лет, чтобы доказать эффективность его применения.

— Что это за аппарат? — чувствуя себя причастным к новшеству, спросил Ломакин.

— Ошеломительно просто: кольца, спицы, болтики, винтики... Всё это надевается на порушенную голень, спицами фиксируются обломки костей, и никакой тебе вытяжки, человек начинает ходить. Аппаратом можно без особых мудростей наращивать кости до двадцати сантиметров, причём это делает сам больной. Чудеса, да и только!

— Почему тогда мурыжили изобретение?

— Бывает... Видать, слишком смелой казалась заявка, ошарашила кого-то.

<...> Ходкую «Волгу» замотало по расквашенной лесной дороге. Её свободно, как жестяную банку, кидало на отвесные сугробы, юзило на раскатах, и Ломакин упреждающе хватался за ногу.

— Чудовищен твой... святой обман, Никита Ломакин, — проговорил Хрусталёв, не отрывая взгляда от несущейся под колёса дороги. — Единственная та женщина была у меня... Теперь точно знаю...

— Вот как! — выдохнул Ломакин.

Лес стоял чуть оттеплевший, как бы начавший дрогнуть после зимнего оцепенения. Деревья откидывали слабые бесплотные тени, и всюду обнажились утончившиеся, в сквозных червоточинах снега. Блёткое солнце взялось довольно высоко, подпекало, но ещё будто в сомнении оглядывало таёжье, примеривалось к нему, как работяга.

Подступала новая весна.